

**АНДРЕЙ  
ДМИТРИЕВ**

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ  
«РУССКИЙ БУКЕР»

дорога  
обратно

СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ



Собрание произведений

Андрей Дмитриев

**Дорога обратно (сборник)**

«WebKniga»

2014

## **Дмитриев А. В.**

Дорога обратно (сборник) / А. В. Дмитриев — «WebKniga»,  
2014 — (Собрание произведений)

«Свод сочинений Андрея Дмитриева – многоплановое и стройное, внутренне единое повествование о том, что происходило с нами и нашей страной как в последние тридцать лет, так и раньше – от революции до позднесоветской эры, почитавшей себя вечной. Разноликие герои Дмитриева – интеллектуалы и работяги, столичные жители и провинциалы, старики и неоперившиеся юнцы – ищут, находят, теряют и снова ищут главную жизненную ценность – свободу, без которой всякое чувство оборачивается унылым муляжом. Проза Дмитриева свободна, а потому его рассказы, повести, романы неоспоримо доказывают: сегодня, как и прежде, реальны и чувство принадлежности истории (ответственности за нее), и поэзия, и любовь» (Андрей Немзер) В первую книгу Собрания произведений Андрея Дмитриева вошли рассказы «Штиль», «Шаги», «Пролетарий Елистратов», повести «Воскобоев и Елизавета» и «Поворот реки», а также романы «Закрытая книга» и «Дорога обратно». Роман «Закрытая книга» удостоен премии имени Аполлона Григорьева (2001).

© Дмитриев А. В., 2014

© WebKniga, 2014

# Содержание

Штиль	5
Шаги	21
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# Андрей Дмитриев

## Дорога обратно

### Штиль

#### *Рассказ*

Если всерьез, это был самый никудышный сад в округе. Крыжовник и смородина осыпались, не успевая созреть. Четыре яблоньки, искромсанные садовыми ножницами, роняли плоды с крахмальным привкусом. Флоксы вяли. Посреди дорожки росло и чахло совершенно бесполезное уксусное дерево, напоминающее папоротник или пальму. Но вот чего там было вдоволь, и самого лучшего качества, так это малины, пересаженной с местного кладбища хозяином сада, полковником в отставке.

Едва уйдя на заслуженный отдых, полковник разругался со своими непослушными детьми и решил поселиться здесь, на побережье, в гордом и здоровом одиночестве.

Он любил порассуждать о целебной мощи морского воздуха, о своем нешуточном намерении прожить до ста сорока лет, о выдающейся культуре быта местного населения, но охотнее всего – о неблагодарности и нахальстве послевоенной молодежи, которой, по его убеждению, все далось даром и все пошло не впрок. Но как только подходило лето, к простреленному горлу полковника подступала жаркая ненависть к мелкому морю, сонному быту, а главное – к нерусской речи местного населения.

Июньскими ночами полковника поедом ела бессонница. Лунный свет сочился сквозь ситцевые занавески, стекал в глаза, наполняя душу холодом и тревогой. В одном исподнем полковник выбегал в сад, недобро скалясь на луну, кромсал садовыми ножницами яблоневые ветви и ругался при этом так, что, услышь его солдаты, с которыми он бок о бок шел и коротко прощался на полях России, – и те встали бы из могил. И однажды утром, наспех собравшись, уезжал в Ленинград к своим уже стареющим детям с единственной, как он уверял себя, целью: пробрать этих недоумков за неблагодарность и нахальство, – да так и оседал в их кругу до самой осени. Надо полагать, он любил своих детей. Всегда горько предчувствуя, что застрянет у них до холодов, полковник, уезжая, сдавал дом и сад двум молодым москвичкам за смехотворно низкую плату. Вдобавок он позволял объедать им все, что можно объесть в саду, и безвозмездно пользоваться любым домашним инвентарем.

Приближаясь к Ленинграду, поезд ускорял ход и, казалось, сам дрожал от нетерпения. Глядя в окно на бесконечный мелкий ельник, полковник продумывал детали своей воспитательной миссии и, заранее сомневаясь в ней, больше смерти боялся, что дети не встретят его, но такого не случилось ни разу.

Каждое утро, если не было дождя, я, направляясь к почте, останавливался у зеленой калитки, рвал малину, проросшую сквозь штакетник, и разглядывал полуголые, оцепеневшие под лучами солнца фигуры двух женщин, тщетно стараясь угадать выражения их лиц или дожидаться хотя бы малейшего движения. Меня завораживала их долгая, мертвая, едва ли не нарочитая неподвижность. Насколько движение, жест, тем более смех выдают характер и настроение, настолько неподвижность прячет все – но зато позволяет строить любые догадки.

\* \* \*

Каждое утро, если не было дождя, Тамара и Настя загорали в саду, неподвижно сидя в брезентовых складных креслах. Маленькая, кругленькая, некрасивая – это Настя. Тамара – высокая, худая в плечах, широкая в бедрах и тоже некрасивая. В отличие от Насти, готовой смириться с любым внешним изъяном, как и вообще с любой оплошностью судьбы, Тамара убеждена, что женщина хороша собой настолько, насколько сама верит в свою привлекательность. И в этом Тамара, вероятно, права. Едва взглянув на нее, любой скажет: «А ничего, даже очень ничего»; потом, конечно, приглядится и вздохнет: «Э, нет, более чем так себе»; но зато когда узнает Тамару поближе, то, устыдившись столь поверхностного пренебрежения, найдет самую подходящую оценку: «Очень хороший человек. Глаза выдают хорошего человека». Оценка точная, но глаза тут ни при чем: они ничего не выдают, ничего не выражают, кроме сонливости, они полузакрыты, неподвижны, и поначалу легко принять эту сонливость за высокомерие.

Вот у Насти другие глаза. Распахнутые, они порхают с предмета на предмет и, подобно пчеле, высасывают, вбирают в себя всю его суть.

Глаза Тамары до того устают за год, что им просто необходимо месяца два побыть в полузакрытом, сонном состоянии. Тамара – машинистка-надомница, и у нее очень много клиентов. Их круг с каждым годом становится все шире благодаря тому, что она охотно берется за самую срочную работу, то есть не спит ночами, отстукивая в сумасшедшем темпе дипломные работы студентов, краснеющих, когда нужно платить, пьесы драматургов – эти говорят ей «милочка» и, жеманясь, просят о разных странностях, будь то особый размер полей и отступов или неуместная разрядка. Многоопытная Тамара угадывает в этом не прихоть, но суеверие.

А еще – бесконечные таблицы и проекты, где все написанное словами звучит как-то безграмотно и не по-русски, а цифры непонятны и скучны. Вообще-то Тамара старается не вникать в содержание того, что перепечатывает: это мешает ритмичной и быстрой работе, от которой глаза устают настолько, что кажутся чужими, а пальцы при ударах покалывает так, словно под кожу попало мелкое стеклышко, засело там и ранит. От излишка работы Тамара отказаться не в силах, питая самые добрые, даже трогательные чувства к своим клиентам, «все понимает» и оттого весь год не знает отдыха, недосыпает, умирает от головной боли.

Обычно под утро, когда начинает нестерпимо ныть спина, Тамара откидывается на жесткую спинку стула и, ненадолго расслабляясь, думает о лете. Райский сад, как светлое облако, встает перед глазами, и растет в том саду удивительное вкусное дерево, так похожее на пальму или на первобытный папоротник. С глухим стуком падают яблоки на мягкую землю. Душны и непролазны заросли малины у забора. Пахнет мокрой травой и раздавленной смородиной. Подруга Настя напевает песенку, услышанную по радио, поливает увядшие флоксы и готовит тесто для пирога.

В Москве подруги до того заняты, что встречаются лишь по праздникам, а во все прочие дни обмениваются телефонными звонками. Чаше звонит Настя, у нее нет постоянного телефона, да и дома она почти не живет. Настя работает нянкой, она хорошая нянька, добросовестная, но, на свою беду, слишком привязывается к подопечным – болезненно как-то, почти до слез – и, кроме того, ревнует их к родителям, не умея этого скрыть. Поэтому все родители стремятся рассчитать ее как можно скорее, не называя, понятно, главной причины, но придумывая различные доказательства того, что Настя не справляется со своими обязанностями. Она не спорит, она верит, потому что привыкла верить всем, кого уважает, и все более убеждает себя в своем несовершенстве. Меняет семьи, детей, плачет, когда выгоняют, плачет, когда устает, а устает она всегда, поскольку, подобно многим нынешним нянкам, одновременно работает в двух-трех местах. Хватало бы сил и времени – она работала бы в четырех, лишь бы

скопить побольше свободных денег. Ей очень нужны свободные деньги на лето, чтобы тратить их без оглядки, когда поедет она с Тамарой на побережье, поселится в доме, к которому так привыкла, в райском саду, который так хорошо шумит по ночам. Если ночь ясна и с моря дует тихий ветер, сад глухо бормочет, а потом вдруг заворчит и затихнет, совсем как набегавшийся за день ребенок, которому снятся пестрые, беспокойные сны. А если ночь наполнена дождем, сад звенит, как тугая струна, на одной гулкой ноте, не дает спать, но это добрая, блаженная бессонница, потому что до самого утра можно думать о хорошем: о той неведомой семье, куда она, Настя, войдет как родная, навсегда, на одних правах с родителями, или о том, как у нее самой народятся дети, неизвестно и не важно – от кого (даже в самых доверчивых мечтах Настя не допускает, что найдется тот, кто возьмет ее, такую несовершенноую, замуж). К утру дождь выдыхается и душа устает, можно заснуть до обеда, смутно слыша сквозь сон скрип половиц и мягкие, тяжкие шаги Тамары, ее кашель: подруга никак не может бросить курить, хотя и пугается собственного кашля.

Соблюдая приличия, я не простаивал у калитки подолгу, шел своей дорогой и до самого обеда совершенно не беспокоился о Тамаре и Насте, уверенный, что стоит мне захотеть – и я увижу их на пляже.

\* \* \*

Едва окунувшись, они опрометью выскакивали из зеленоватой мелкой воды и, согреваясь, бежали наперегонки. Настя бегала легко и дышала размеренно, а Тамара отставала, охала, захлебывалась свежим ветром или громко жаловалась на «проклятую старость». Обсохнув, они падали на одеяло и, задремывая на нежарком солнце, часами лежали без движения, изредка и безо всякого любопытства оглядывая малолюдный берег.

Когда настоявшееся за день тепло уходило в песок, а море обретало цвет раскаленного железа, на берегу, далеко-далеко, появлялась фигура человека, шагающего вдоль линии прибой. Воздух густел и застывал в ожидании близкого заката, фигурка неумолимо приближалась, и наступал тот миг, когда Владимир Иванович опускался на песок рядом с подругами. Расшнуровывая ботинки, он спрашивал:

– Ну? Как вы жили все эти годы? – И это было каждодневным приветствием.

Владимир Иванович всегда проводил отпуск в одном из местных пансионатов. Пропустив после обеда две-три кружки пива и поборов пагубное желание вздремнуть, он совершал долгий путь по берегу, считая шаги и никогда не сбиваясь счета.

Он опускался на песок, порядком устав, проголодавшись, и, снисходительно болтая с Тамарой и Настей, терпеливо ждал приглашения вместе поужинать. Когда наступал закат, его наконец приглашали, и он соглашался, неубедительно сетуя, что неудержимая любовь к пирогу с малиной вынуждает его быть надоедливым. Поедая пирог, он шутливо упрекал хозяйку за отсутствие выпивки на столе и пил много крепкого чая.

Близилась полночь, обрывались и терялись нити разговора, подруги кутались в платки – Владимир Иванович шел на последнюю электричку, засыпая на ходу, слушая ветер и думая о погоде на завтра. Вот и все. Чем живет он весь год, вдалеке от моря и покоя, там, где некогда считать шаги, где не поспишь от грохота пишущих машинок, звонков телефонов, топота ног и визга капризных детей, – этого Тамара и Настя не знали да и не пытались узнать. Поговорить Владимир Иванович любил, но говорить о себе ему было неинтересно. Благодаря именно этой столь редкой черте он никогда не раздражал подруг своим присутствием. Очевидным и достаточным для них было то, что Владимир Иванович немного циник, но добряк, ничуть не стыдится своей плечи и пристрастия к спиртному, что человек он бывалый, много поездивший и много поживший, хотя не вполне ясно было, где поездивший и как поживший. Более всего их

привлекало то, что ему от них ничего не надо. Он не напрашивался даже на дружбу. О флирте, о намеках известного свойства и говорить не приходится. Владимир Иванович всегда шутив, печален и далек. Он был приятным собеседником, привычным завершением дня. И они для него были приятные собеседницы, вошедшие в привычку. К тому же он умел каждый раз по-новому похвалить пирог с малиной.

Однажды Тамара призналась, что мечтает завести в Москве умного зверя, овчарку или пуделя, поскольку человеку в Москве трудно без зверя, человек в Москве одинок.

– Собака в Москве давно не зверь, – возразил Владимир Иванович. – Так, нечто среднее между человеком и мебелью.

– Ну знаете ли! – возмутилась Тамара.

– Знаю, знаю, – закивал Владимир Иванович. – Нечто среднее. Вот как я для вас. Или как вы для меня. И не обижайтесь, не стоит. Это не так уж плохо.

Тамара и Настя не обиделись, но меж собой стали звать его Нечто среднее.

– Что-то Нечто среднее нынче был невесел, – говорила Тамара, укладываясь спать.

– Пиво за обедом было несвежее, – говорила Настя.

И обе смеялись.

\* \* \*

Чувствуя, как остывает песок, Владимир Иванович переворачивался со спины на бок и спрашивал:

– Ну и как? Будет рейс на Стокгольм или отменили?

– Посмотрим, – говорила Тамара.

– Будет, – говорила Настя.

Замолкнув, они напряженно глядели в пустое небо.

Наконец в небе появлялась белая точка. Медленно и упорно она ползла в сторону моря. Стоило сощурить глаза – и точка становилась крестиком. На невидимой прозрачной нити крестик тянул за собой белый рыхлый хвост.

– Млечный Путь, – говорила Тамара.

– Инверсионная линия, – поправлял всезнающий Владимир Иванович.

– На кефир похоже, – говорила Настя.

Пересекая море, хвост подползал к горизонту.

– И на что он вам сдался, этот Стокгольм? – пожимал плечами Владимир Иванович. – Во-первых, там сухой закон.

Тамара и Настя привыкли к белой линии, привыкли следить, как расплывается она в небе, и решили однажды, что этот высокий-высокий самолет летит на Стокгольм, поскольку, по всеобщему убеждению, ближайшим населенным пунктом за морем был Стокгольм. А еще они привыкли строить догадки: кто летит этим рейсом, что разносит на обед белозубая стюардесса, какая музыка тихо наигрывает в динамиках салона.

Это, наверное, очень хорошо: расслабившись в мягком кресле, отстегнув ремни и слушая тихую музыку, глазеть в иллюминатор на стальную поверхность моря, по которой скользит крошечная тень самолета. Хорошо замереть, закрыть глаза и затаить дыхание, когда самолет пойдет на посадку. Хорошо, наверное, выйдя на шумную площадь перед аэропортом, размять ноги и расправить плечи, поймать такси и поехать, глаза по сторонам и вдыхая незнакомые запахи незнакомой города.

Куда поехать и зачем, этого Тамара и Настя никак не могли согласовать. Насте хотелось в кино или на фигурное катание. Обстоятельная Тамара считала, что прежде всего необходимо найти гостиницу, где можно отдохнуть с дороги, легко поужинать и освежиться в сауне и бассейне. Затем следует осмотреть достопримечательности, заскочить на рынок – просто так, из любопытства, – и заглянуть в канцтовары, нет ли там хорошей копирки, после чего, пожалуй, можно и в кино.

В конце концов им становилось стыдно, что догадки их столь однообразны и скучны, что фантазия их столь убога. Устыдившись, Настя думала о своем несовершенстве, а Тамара о том, о чем и вовсе не следовало думать: о работе, которая поджидает ее в Москве.

Как-то Настя прочла и пересказала Тамаре один шведский детектив, очень смешной. Там глупые, неуклюжие полицейские никак не могут поймать грабителей банка, таких же глупых и неуклюжих, которые совсем не заботятся о конспирации и прожигают жизнь в открытую, самым нелепым образом.

А если так, то отчего же, взяв такси и легко поужинав в гостинице, не ограбить какой-нибудь банк? Ну а потом, после всевозможных перипетий (они каждый вечер придумывали новые перипетии), купить катер, завести мотор и на полном ходу рвануть в открытое море: Тамара пытается справиться со штурвалом, а Настя стоит на корме и охалками разбрасывает деньги – радужные купюры разлетаются, как стаи чаек, парят на ветру и падают в волны на глазах у изумленных шведов.

Эта финальная картинка смешила подруг более всего, обретая с каждым вечером в зависимости от настроения все новые штрихи и детали. Владимир Иванович скучал рядом, нехотя слушал, изредка вставлял какое-нибудь замечание или вышучивал подруг.

В конце концов строить догадки и фантазировать надоедало. Белый хвост, став неподвижным, расплзался и таял в небе. Небо темнело, наступал закат.

– Господи, до чего же это далеко, – печально говорила Настя.

– Глупости, – говорил Владимир Иванович. – Это совсем близко: каких-нибудь две-три сотни миль. Все в этом мире ужасно близко: и Стокгольм, и Африка. Так близко, что даже неинтересно. К тому же в Стокгольме сухой закон, а в Африке стреляют почем зря и кому не лень.

– Ну и подумаешь, – говорила Тамара, вставая с холодного песка. – Вы идете с нами ужинать, куда?

– Стоит ли? – Владимир Иванович похлопывал себя по отросшему животу, потом вздыхал и соглашался.

Бывали вечера, когда в море совсем близко от берега появлялся полосатый парус яхты. Догадок тут строить не пришлось: обладатель яхты поспешил представиться подругам, не успев стать объектом праздных фантазий. Этот свежий могучий парень показался Тамаре и Насте непроходимо тупым. Он был «в порядке» и собой доволен. Он разговаривал короткими пустыми фразами. За каждой фразой следовала многозначительная пауза, после паузы – смех, в котором преобладал звук «ы». И одевался он сообразно тому, как смеялся: плавки, кожаная куртка на голое тело, солнцезащитные очки «макнамара», сползающие на кончик крупного, гордого носа.

Пришвартовав свой корабль к старому рыбацкому пирсу, Эвальд – его звали Эвальдом – сходил по скрипучим доскам на берег и немедленно делал стойку на руках. Мягко спрыгнув на ноги, он подбирал упавшие очки и пружинистой трусцой направлялся к Тамаре и Насте.

– Служба погоды обещает штиль, – сообщал он вместо приветствия. Выдержав паузу, покачав головой, он смеялся и говорил: – Это плохо.

Тамара и Настя не поощряли его к продолжению разговора, Эвальд не настаивал, хотя и выжидал немного, вновь заходился счастливым смехом и трусцой возвращался к пирсу. Иногда разбежался и делал сальто. Если трюк не выходил, Эвальд тяжело поднимался с песка, поти-

рал ушибленное место, слишком охал, слишком кряхтел, а потом вдруг срывался и легко, как олень, бежал по берегу.

Владимир Иванович был с ним разговорчивее. Увидев Эвальда впервые, он сразу же поинтересовался, где и за какие деньги можно купить такую бесподобную яхту с таким замечательным полосатым парусом.

– О! – сказал Эвальд. Помолчал, посмеялся и заверил: – Это недешево. – Он опять выдержал паузу. – Это не везде.

Владимир Иванович выяснил также, что отец Эвальда рыбачил в колхозе, пока не вышел на пенсию, то есть пока на месте курортной зоны был колхоз. Уже несколько лет отец ловит в одиночку, а еще у отца есть коптильня. Он коптит балтийского лосося и продает его поштучно отдыхающим в поселке и в пансионатах.

– Неплохие деньги, – пояснил Эвальд. – Потому что вкусно. – Он помолчал, посмеялся и добавил: – И нигде нет.

– Я тоже кое-что, – заявил он после очередной паузы. – Кое-где, кое-что. – Он напрягся, подыскивая еще одно веское слово, и нашел его: – Помаленьку.

Белая точка поплыла над морем, и Владимир Иванович спросил Эвальда:

– На Стокгольм летит?

– Туда, – вздохнул Эвальд.

– Сплываем в Стокгольм, – пошутил Владимир Иванович, кивнув в сторону пирса, где покачивалась мачта с поникшим парусом.

Эвальд захохотал, сказал:

– Это просто. – И побежал по берегу, высоко поднимая ноги, стремительно и легко.

– Дурак, – сказала Тамара, лежа на спине и следя за тем, как крошится в небе инверсионная линия.

Праздная жизнь, такая упорядоченная и размеренная, какой может быть только праздная жизнь, теряла, казалось, свою опору, свой смысл в те, как правило, дождливые дни, когда приходилось изменять привычному лежанию на пляже, когда привычный Владимир Иванович не приходил – переждал дождь в своем пансионате. В такие дни Тамара старела на глазах, жаловалась на скуку, головную боль и давление, думала о безрадостном, много курила и спала без просыпу. Настя в такие дни тоже много думала, в том числе и о Владимире Ивановиче. Никаких видов на него она, твердо уверовавшая в свое несовершенство, не имела, как, впрочем, и Тамара. Настя бестрепетно думала о Владимире Ивановиче, и в тихих ее мыслях он переставал быть привычкой, «нечто средним», и становился неясностью, загадкой.

Самой скучной была мысль, что там, в Москве, среди снегов и гололеда, Владимир Иванович разведен, бирюк, бобыль и, быть может, ленивый бабник. Эту мысль развить было некуда, оттого она и была скучна.

А если он женат? А если у него дети? У него должны быть уже взрослые дети. Грустнее всего, если у него нет детей, но он их очень хочет, в чем – такой скрытный, такой ироничный – не может признаться жене. И жена, наверное, под стать ему: скрытная, ироничная, таящая за маской умного легкомыслия самую женскую, самую музыкальную мечту.

Так живут они и живут, лишённые благодати, забыв о том, что в юности хотели счастья.

Но есть в мире справедливость, потому что мир совершенен. И в один внезапный вечер – о, как любила Настя представлять этот вечер во всем его свечении, во всех тенях, полутонах и шорохах – они откроются себе и друг другу. «Здравствуй!» – скажет Владимир Иванович жене, как будто увидев ее впервые. «Здравствуй!» – скажет жена Владимиру Ивановичу, радуясь и страшась того, что последует за этим «здравствуй», за обоюдным неожиданным прозрением. И народятся у Владимира Ивановича дети. Сначала один ребенок, а там – как Бог даст. Но даже и один ребенок сразу же потребует свое, он будет многого требовать, особенно на первых порах.

А что могут неумелые руки жены Владимира Ивановича? А что может неловкий Владимир Иванович? «Как мы беспомощны!» – горько скажет жена Владимира Ивановича. «Как я недогадлив!» – спохватится Владимир Иванович, вспомнив о Насте. Он ведь знал, что она нянька – эта тихая женщина из мира пляжных прогулок и пирогов с малиной.

Настя замирала, суеверно боясь придумывать дальнейшее. Она слушала теплое посапывание Тамары. Она слушала дождь, который мягко бил по стеклу, подпевая ее мыслям или, наоборот, подшучивая над ними.

Засыпала, но дождь не уходил, звучал в ней, охраняя сон от кошмаров.

\* \* \*

Дождь кончился рано, до обеда, но пляж пришлось отменить: так мокро было все вокруг – не ступить, не улечься. Подруги настроились на хандру. Однако Владимир Иванович не смог смириться с одиночеством в своей курортной зоне и – озябший, с промокшими ногами – явился без приглашения прямо в сад. Отогревшись, он расположился в складном кресле напротив Тамары и с удовольствием следил за тем, как неразговорчивая Настя собирает мокрую малину для пирога.

Владимиру Ивановичу было свойственно переносить свое настроение на предметы. Будь ему плохо, уныло, он наверняка говорил бы о том, как этот сад мал, беден и неухожен. Но ему было хорошо, и он вслух мечтал о несбыточном – уподобиться полковнику в отставке и прожить остаток жизни в этом уютном, поистине райском саду. Тамара не соглашалась. Райский сад, говорила она, он огромный, как само небо, а этот дачный клочок хоть и мил, но все же не стоит столь громких эпитетов и восторгов. Настя молча сердилась на подругу. Она, подобно Владимиру Ивановичу, считала сад поистине райским, но сердилась больше оттого, что Тамара, не меньше ее влюбленная в сад, лукавит и скромничает, как если бы сад принадлежал ей.

Владимир Иванович вытягивал короткие ноги и морщился. С чего мы взяли, говорил он, да и кто это выдумал, что рай огромен? Отчего ему быть огромным? Миллиарды лет существует планета, миллионы лет копошатся на ней, сменяя друг друга, цивилизации и поколения, но за все это время, которое немногим короче вечности, едва ли набралось на земле столько праведников, чтобы было целесообразным разбить для них хотя бы две-три сотки небесной земли.

– Ну знаете ли! – возмущалась Тамара.

– Знаю, знаю, – кивал Владимир Иванович. – И дело даже не в том, что человек не праведник. Дело в том, что праведник – не человек. Так, нечто среднее между инфузорией и вымыслом.

– Я, быть может, и не праведница, – пожимала плечами Тамара. – Грешить мне, правда, некогда, но иногда хочется погрешить, потому и не праведница. Но поглядите на Настю. Поглядите и застрелитесь. Она – самый настоящий праведник и никакое не «нечто среднее».

– Хочется, ну и грешите, – говорил Владимир Иванович, мельком оглядывая Настю, а Настя стыдилась, обижалась на Тамару и опускала глаза в таз с малиной.

– А чего же вы не грешите? – улыбалась Тамара.

– Я свое отгрешил, – смеялся Владимир Иванович. – Так отгрешил, что уже неинтересно.

– Вам, может быть, и жить неинтересно? – улыбалась Тамара.

– Может быть.

– Да, – вздыхала Тамара, полужакрыв глаза. – В этой жизни нет никаких плюсов.

– Есть один, – говорил Владимир Иванович. – Живым быть лучше, чем мертвым. Потому что там, – он, морщась, глядел на небо, – нет никакого райского сада, даже маленького. Ничего нет. А здесь. Здесь, по крайней мере, пирог с малиной. Как, Настя, не подгорит?

Настя не отвечала, глотая обиду. И не за пирог она обиделась, который у нее никогда не подгорал. Ее обидел весь этот праздный, ленивый разговор. За живую ли жизнь стало ей обидно, за этот ли мир, такой совершенный, – она не знала.

Понимала, что глупо обижаться на пустые слова, тем более что Тамара явно кокетничает, а Владимир Иванович, наверное, много страдал, оттого и позволяет себе говорить такое. Его пожалеть надо, а не обижаться. Но обида разрасталась и зрела.

Настя решила вступить в разговор, перевести его на что-нибудь легкое, и она ляпнула первое, что пришло в голову: какую-то отчаянную глупость.

Тамара удивленно взглянула на нее и отвернулась, а Владимир Иванович – тот даже не взглянул. Уютно подобрал под себя ноги и откинул голову на спинку кресла.

Разговор тем не менее оборвался. Они молчали, не зная, о чем еще говорить, или не желая говорить в ее присутствии. И тогда Настя, как ей вдруг показалось, разгадала свою обиду. Это тягостное для нее молчание, так похожее на упрек, подсказало ей мысль о том, что она, Настя, третий лишний, что Тамара и Владимир Иванович – это одно, а она – совсем другое. Она даже не попыталась усомниться в своем открытии. И уже за столом, воровато наблюдая, как сосредоточенно ест Владимир Иванович, как рассеянно держит вилку Тамара, Настя удивлялась: отчего самое естественное и простое до сих пор не приходило ей в голову? Ну почему, в самом деле, Владимир Иванович должен одинаково относиться и к ней и к Тамаре? Ведь она такая несовершенная, а Тамара...

Владимир Иванович похвалил пирог с малиной, Тамара поспешно поддакнула: это они вместе похвалили ее пирог. Это совсем не то, если бы Владимир Иванович как гость похвалил их общий пирог.

– Сбегаю за продуктами, – сказала Настя после ужина.

– Сбегай, сбегай, – сказала Тамара. – И купи мне сигарет.

– А мне папирос, – присоединился Владимир Иванович, панибратски подмигнув.

Настя купила молоко, творог, два десятка яиц. Купила сигареты и папиросы. Себе взяла триста граммов карамели: когда она грызла карамель, ей лучше думалось. Новая, неожиданная мысль настолько захватила ее, что она не торопилась возвращаться в сад: надо было познакомиться в одиночестве, привыкнуть к этой мысли, настолько привыкнуть, чтобы она не пугала и не раздражала, а, напротив, стала любимой и радостной. Настя грызла карамель и растила в себе радость.

Пусть скорее и без мук произойдет то, что должно произойти. Пусть не будет больше райского сада для двоих. Она, Настя, рада, что оказалась сопричастной началу той новой жизни, что настает у Тамары и Владимира Ивановича. Владимир Иванович такой изверившийся, такой бесприютный. Тамара такая замотанная, такая одинокая. Они такие беспокойные оба. Пусть они скорее успокоятся друг с другом, пусть они будут счастливы, пусть у них это получится, а она, Настя, будет тихо радоваться за них, приходить в гости, печь пирог с малиной и вспоминать лето, мелкое море, белую линию в небе, неухоженный райский сад.

Стемнело, и Настя, легкая и притихшая, вернулась в сад.

Завидев ее, Владимир Иванович неуклюже вскочил с кресла, прокашлялся, сказал:

– Боюсь, что мне пора. Обленился, засиделся. – И ушел, забыв про папиросы, обронив на прощание: – Не шалите тут без меня.

Тамара небрежно приняла у нее авоську с продуктами и прошла в дом, бросив через плечо:

– Молоко не скисло? Где ты шлялась? – Она раздраженно хлопнула дверью, оставив Настю одну на крыльце.

Ложась спать, Настя ощутила холод. Окно было закрыто, ночь тепла, но Настя зябла. Она сворачивалась калачиком, грела дыханием тьму под одеялом и не согревалась. Жидкая луна текла сквозь занавески и вдруг пропала, скрытая ночными облаками. Предчувствуя бессонницу, Настя слушала шаги Тамары за стеной и боялась, что Тамара войдет, включит свет и посмотрит ей прямо в глаза. Потом она стала бояться утра, когда станет светло и они с Тамарой окажутся лицом к лицу.

Радость исчезла, она не успела окрепнуть, бегство Владимира Ивановича и неприкрытое раздражение Тамары оказались сильнее ее. То, о чем так хорошо думалось в одиночестве, казалось немислимым обнаружить в присутствии Тамары. Страшно будет глядеть на нее новыми глазами, когда некуда спрятать глаза.

Шаги за стеной стихли. Послышался шелчок: Тамара зачем-то включила настольную лампу. Настя затаила дыхание, почувствовав себя вором, проникшим в чужой дом.

А Тамара, включив настольную лампу, поморщилась от яркого света и головной боли, донимавшей ее весь день, и принялась сочинять письмо в Ленинград. Полковник требовал, чтобы хоть раз за все лето она извещала его о том, что дом не сгорел, стекла не вылетели, посуда не перебита, крыша не прохудилась, сад не зачах и воры не растащили инвентарь.

Разумнее было бы улечься спать, забыться, унять головную боль, но Тамара знала, что днем до письма не дойдут руки, и не потому, что будут заняты, – просто будет лень. А еще Тамара была уверена, что раздражение, вызванное головной болью и нелепо истраченным днем, так просто не уляжется и бессонница обеспечена. Надо было дать перекипеть раздражению, отвлечься – хотя бы на такую ерунду, как письмо: механическая дань уважения человеку, который безразличен, но все же не заслуживает безразличия.

За стеной было тихо, Настя, как видно, уснула. Плохо. Плохо, что не извинилась перед нею за грубый тон – к ней он не относился, да что поделаешь: головная боль, долгое, утомительное сидение в саду и столь же долгий, утомительный разговор с этим Владимиром Ивановичем – все это вскипело и выплеснулось на бедную Настю. Не стоило поддаваться привычке, выработанной в общении с московскими клиентами, быть или стараться быть на уровне разговора. Надо было свести на нет эту никчемную болтовню. Куда там! – поддакивала, подлаживалась, подпевала, вздыхала, прикрывала веки, как будто хотела понравиться. «В этой жизни нет никаких плюсов» – неужели она так сказала? Что за ерундовина. Мало ли что несет этот плешивый циник. Поддакивала, мучаясь давлением и головной болью, вместо того чтобы гнать его в шею; что за бестактность, в конце концов, торчать весь день у полужнакомых женщин! Так ведь не прогнала и еще разозлилась, когда Настя влезла в разговор с какой-то глупостью! Для того и влезла, чтобы ей помочь, чтобы этот болтун наконец заткнулся. Настя – чудо, тихое чудо, тихо все понимает.

Тамара заклеила конверт, погасила свет и легла. Засыпая, она услышала шорох и стук за стеной. «Не спит. Спи, милая, спи», – подумала Тамара и заснула с улыбкой.

Ей приснилось, что кто-то плачет в саду.

Отплакавшись, Настя стала зла и спокойна.

Стремительно и без боязни шла она по поселку, который в этот час был не поселком, но вязкой тьмою, наполненной сонными разрозненными звуками. Будь этот мир справедлив, ее просто не существовало бы в жизни Тамары, жила бы Тамара одна в райском саду, не зная никаких вздорных проблем. Но так устроен мир, что одним выпадает жить, а другим – мешать жить. Она, Настя, из тех, что всем мешают – уже потому, что живут сами. Так уж ей выпало.

О, она понимает теперь, отчего так много несчастных в этом совершенном мире! На пути тех, кто достоин счастья, на пути тех, кто способен к счастью, встают такие, как она, Настя, – увиваются, присасываются, вяжут по рукам и ногам. Разве не из-за нее ничего до сих пор не решилось у Владимира Ивановича и Тамары? Порадоваться за них хотела, пирогами поублажать. Радуйся на здоровье, меси свое тесто, но где-нибудь подальше, в своей норе, и не лезь ни к кому со своей радостью. Не радость твоя им нужна, им нужно, чтобы тебя вообще не было.

Не понимают они этого, но зато она, Настя, понимает. А пока она есть, пока она рядом – ничего и никогда у них не будет, кроме тоски и неловкости.

Воздух посвежел, тьма подтаяла, проступили очертания окраинных заборов и сосен. Ноги вязли в песке, близилось море.

О, теперь она все понимает. Таким, как она, вообще нет места среди людей. Такие, как она, со всеми приживутся и все разрушат. Люди не догадываются об этом, они добры, лишь раздражаются по мелочам, стыдясь своего раздражения. Им бы не раздражаться, а сразу гнать.

Настя провела по лицу ладонью. Слез нет – это ветер щиплет глаза.

Все ей подобные должны быть мудры и сами уходить, селиться в резервациях, лепрозориях, изоляторах, каждый в своей клетке, в своем загоне, и не подпускать к себе людей, потому что люди слабы и, на свою беду, обладают способностью сочувствовать. Все зло начинается с этого сочувствия. Слишком сочувствуют ей все вокруг и оттого не могут жить счастливо.

Море, дохнув в лицо, преградило ей путь. Настя села на холодный песок и ослабела.

Как несправедливо все устроено. Живешь, как воробей, клюешь эту жизнь по крошечке, живешь бесплотно, как тень. Так почему же об тебя спотыкаются? Бедный Владимир Иванович, как муторно ему трястись по вечерам в электричке, возвращаясь в одиночество и пустоту! Он бы остался, остался бы давно, да Настя не позволяет. А дни идут, Тамара стареет, пусть и нет ей еще тридцати. Был у нее кто-то, рассказывала. Кто-то был, кто-то временами бывает, да все не то и все не до этого: ей нужна новая жизнь, ей бы расправить плечи – а Настя не дает.

Ей, Насте, тоже нет тридцати, у нее тоже было что-то в первый вольный год после школы. Кто же там был, от нетерпения и жадности безразличный к ее несовершенству?.. Было, да сплыло, и уже не столько радостно, сколько страшно вспомнить. Ничего у нее больше не будет. Даже если когда-нибудь родится ребенок – испортит она ему жизнь, искалечит. Затискает, засюсюкает, шагу ступить не даст. Он будет жить, а она ему – мешать жить, так вот ей выпало.

Настя решила заплакать, но передумала. Больше она не имеет права себя жалеть. Потянула назад, в сад, под одеяло, но страшно было возвращаться. Теперь она слишком все понимает. Страшно возвращаться, все понимая. И некуда возвращаться, все понимая. Она встала, стяхнула с подола прилипший песок и побрела никуда по темному берегу.

Ее испугал глухой стук, она прислушалась, робея, силясь угадать, кто караулит ее в пустыне. Вблизи сгустком тьмы проступил старый пирс. Худая тень покачивалась на его краю. У Насти перехватило дыхание, ослабли ноги, возникло желание лечь, зарыться в песок, раствориться.

Стук повторился еще раз и еще. Наконец она уловила, что чередование его созвучно пульсу моря, то есть произвольно. Осторожно, стараясь не упасть в воду, она прошла по скрипучим доскам.

Пришвартованная яхта терлась о пирс, подобно стрелке метронома покачивалась оголенная мачта. Отлегло, и Настя рассмеялась. Напряжение спало, захотелось праздника.

Его неоткуда было ждать. Ночной мир ушел в себя, и ему не было никакого дела до Насти. Самой учинить что-нибудь, но нет ни вина, ни музыки, ни цветов, нет голоса, чтобы петь, нет даже спичек, чтобы развести костер, а там – хоть скачи через огонь, хоть смотри, как пляшут на песке горячие тени, или сама пляши, пока не дотлеют угли, пока не подкосит усталость, пока

мысли и память не отлетят, пока не наступит сон, пустота, безмятежное ничто. Ничегошеньки нет под рукой, и ничего нет впереди, кроме томительных ночных часов на голом берегу.

Настя поежилась от холода и сбежала с пирса.

Она узнала этот дом сразу по сложенной из камней ограде, вросшей в песок, по запаху прелых сетей, соленого дерева, кожи и копоты – по тем застарелым запахам, каких не знал ни один из домов поселка. Те дома были дачного типа и пахли садом, стиркой, кухней. Запахи этого дома напоминали о том, что он здесь – особняком, что он здесь еще с тех пор, когда берег не знал дач, пансионатов, купальных кабин, хрипа транзисторных приемников и отдаленного шума электричек.

Ликуя, залаял цепной пес.

Метался за оградой злобной тенью, бил лапами в железную сетку калитки, и калитка звенела. Из дома вышел старик с фонарем, босой, в кальсонах; он осветил Насте в лицо, ничего не спросил, сплюнул, отогнал пса, открыл калитку и вернулся в дом, жуя на ходу короткие недовольные фразы, похожие на бульканье.

Вскоре вышел Эвальд в плавках и кожаной куртке, наброшенной на голые плечи. Посветил Насте в лицо, пригляделся и узнал.

– А! – сказал он, погасил фонарь, потом зевнул. – Сколько время?

– Ночь, – сказала Настя. – Поплыли в Стокгольм.

– В Стокгольм? – переспросил Эвальд, помолчал, засмеялся на «ы» и кивнул: – Ага.

– Не забудь парус, – напомнила Настя.

– Парус? – озадаченно протянул Эвальд, но Настя, не желая возражений, решительно направилась к пирсу.

Эвальд с трудом ее догнал.

– Не беги, – сказал он. – Это много весит. Между прочим.

– Помочь? – не глядя на него, спросила Настя.

– Если можешь, – хмыкнул Эвальд.

Настя взвалила себе на плечи половину свернутого паруса. Другая половина осталась на плечах Эвальда. Так они и шли плечо к плечу. Рукав кожаной куртки Эвальда больно тер локоть Насти, ноги вязли в сыром песке. Эвальд насвистывал и тихо смеялся.

– Теперь посидим, – сказал он, сбрасывая парус на песок. – Ты, конечно, хочешь посидеть.

– Ни капли не хочу, – ответила Настя, но Эвальд все-таки сел и потянул ее за руку.

– Посидим. – Он помолчал. – Сейчас плохо видно. Темно. Надо ждать.

Настя вырвала руку и взбежала на пирс. Эвальд тяжело поднялся и, бормоча непонятные булькающие фразы, раскатал парус.

– Ты! – крикнул он Насте.

Настя обернулась. Ее глаза уже привыкли к темноте. Эвальд блаженно упал на парус и растянулся на спине.

– Хорошо, да?

– Что хорошо? – нетерпеливо отозвалась Настя.

– Тут хорошо. Это не одеяло. Это лучше.

Взвизгнули доски – это Настя топнула ногой.

– Ты чего разлегся, олух! Ставь свой парус!

Эвальд встал, вздохнул, сказал: «Это интересно» – и послушно потащил парус к яхте. Долго, на ощупь прилаживал его, изредка выплевывая резкие булькающие звуки – очевидно, ругательства. Он балансировал, стараясь не упасть в воду, а Настя, стоя на коленях на краю пирса, изо всех сил цеплялась руками за борт яхты, думая, что этим помогает.

Наконец спросил:

– Поплыли?

– Поплыли, – сказала Настя, решительно шагнув на борт.

– В Стокгольм, – добавил Эвальд и захлебнулся смехом.

\*\*\*

Настя опустила за борт ладонь и ощутила ладонью теплый ток моря, стремительный и упругий. Они плыли.

Эвальд, замерев, сидел на корме. Говорить было не о чем. И не было у Насти желания говорить с этим человеком. Он все еще не существовал, его присутствие было иллюзорным, он был тенью, ничем и, казалось, сам сознавал это. Он молчал и даже не смеялся. Она вдруг поняла, что молчать им придется слишком долго, потому что в ту самую секунду, когда берег и пирс исчезли, слившись с глухой тьмой, время остановилось. Как долго, куда и зачем им плыть, она старалась не думать. Ниже опущенной в воду руки не было ничего. За сгорбленным силуэтом Эвальда не было ничего. И ничего не было выше бледной громады паруса. Пространство несло их куда-то, зажав в кулак, как божьих коровок. Настя почти физически ощутила эту давящую мощь пространства, и ей стало страшно.

– Страшно? – Негромкий голос Эвальда возник немислимо близко. – Это бывает, ты так не сиди. Тебе хорошо лечь и немножко спать. – Эвальд вдруг хмыкнул, подыскивая нужное слово, и нашел его: – Чутьочку.

Лечь, закрыть глаза, свернуться калачиком – и сразу наступит покой, дремота, да не свернешься здесь, пожалуй, на тесном дне маленькой яхты.

Больно ударившись плечом, Настя вытянулась на боку. Лежать было жестко. Рука, бедро, колено сразу занули, и это ее обрадовало, потому что мир наконец обрел реальность, стал осязаем, как нора. Настя принялась по-хозяйски осваивать этот подробный мир: подогнула колено, изменила положение локтя, старательно пристроила на нем щеку, но осталась недовольна и попробовала устроиться на спине. Открыла глаза и впервые за эту ночь увидела звезды.

Небо кое-где прояснилось, и там, где оно прояснилось, высыпали звезды – редкие, одинокие, неподвижные. И Насте показалось, что яхта стоит.

А потом их закрыло стремительное облако – оно надвинулось тяжелой тенью и обрело черты Эвальда. Яхту качнуло. Эвальд осторожно навалился на Настю. Чтобы в случае сопротивления не оказаться в воде, он одной рукой накрепко вцепился в борт, другой попытался удостовериться, что предмет, на который он навалился, действительно живая женщина. Шарил, будил – и не удостоверился. Настя, казалось, окаменела.

– Ну! – укоризненно выдохнул Эвальд.

Настя не шелохнулась. Она лишь тихо отвернула лицо, чтобы не видеть тупой силы, вдавившей ее в дно яхты, не слышать живого дыхания человека, который не был для нее живым. Она не испытывала ничего, кроме усталости и безразличия к тому, что может произойти. Ее увлекла резкая боль в спине. Боль росла, густела, какая-то деревянная переборка грозила раскрошить позвоночник. «Сейчас я умру», – подумала Настя, и это была легкая мысль. «Еще чуть-чуть – и умру», – снова подумала она, чтобы убедиться в отсутствии страха и боли. Печальная, безвольная мысль о смерти одурманила ее. Она улыбнулась.

Эвальд увидел эту улыбку и окончательно понял, что ничего не выйдет. Помимо тесноты, помимо боязни оказаться за бортом и стигнуть в ночи, главным было полное отсутствие желания. То есть он нисколько не желал эту кургузую, вздорную, полузнакомую женщину, а навалился лишь потому, что не представлял себе, как можно не навалиться. В конце концов, он привык быть самим собой и не мог быть никем иным. Сопротивление с ее стороны, страх, борьба или, напротив, бурная отзывчивость пробудили бы в нем желание, он на это и рассчитывал. Но ничего этого не случилось. Была улыбка, адресованная не ему. Он не смог понять, но сумел оценить эту улыбку.

Яхту качнуло, и сразу отпустила боль в спине. Открылось небо, прояснившееся настолько, что звезды наконец смогли собраться в созвездия. Показалась луна, и свет ее, рыхлый, неяркий, убыточный, выдавал близость рассвета. Эвальд сидел на корме и, подергивая шнур, правил, не глядя на Настю. Настя приподнялась. Яхта шла к берегу, к смутному отростку пирса. Все было на своих местах, высвеченное луною, звездами и почти незримым излучением близкого рассвета. Ветер был слаб, неслышен, яхта шла тихо.

Эвальд сплюнул в воду и громко заговорил сам с собой.

Он говорил зло и отрывисто, зная, что Настя не понимает его, или же просто забыв о ее присутствии. Его булькающая речь, на этот раз лишённая пауз и смеха, состояла из непрерывных ругательств, междометий, и в этих бессвязных ругательствах никто, даже соплеменники Эвальда, окажись они рядом, не уловили бы главного: укора ненавистной судьбе, породившей его таким слабым и таким зависимым от собственной слабости.

Почему он настолько слаб, что, не утруждая себя сомнениями, готов подчиниться любому дуновению ветра, любому указателю, зову, несколько не задумываясь над тем, что обещает или чем грозит этот зов? Почему, потакая этой рыхлой истеричке, он поплелся невесть куда и зачем, да еще похмыкивал, воображая себя хозяином положения? Почему навалился на нее, не испытывая ничего, кроме массы неудобств? Почему позволил ей измываться – ей, никому не нужной, жалкой дуре, над собой – молодым, сильным и гордым мужчиной? Почему он не удостоился даже сопротивления? Как она посмела не сопротивляться? Как посмела она явиться среди ночи, поднять с постели, как посмела помыкать им по своей бабьей прихоти? Вмазать бы ей по курносой роже, швырнуть за борт и поглядеть, как пускает пузыри, да разве в ней дело? Оттого и посмела, оттого и разбудила, оттого и не сопротивлялась – тряпку в нем угадала, портянку, заводную игрушку, кусок мяса, не вызывающий даже страха.

Ругательства становились все немислимее и бессвязнее, в них зрел плач по самому себе, и слезы не замедлили явиться. Эвальд был унижен. Отцом, попрекающим его своей кормежкой. Морем, которое презирает его, так как знает, что яхта, предмет его гордости, на самом деле жалкая самоделка, сооруженная без умения и знаний, на глазок, готовая развалиться от удара любой волны, перевернуться при резком порыве ветра. Всеми, кто не удостоил его, Эвальда, даже разговором. Всей своей бездумной, суетной жизнью, которая, глумясь и подмигивая, отсчитывает ему мелкие замусоленные купюры. Другим и деньги другие, основательные, и девицы аховые и вдобавок преданные, готовые на все – хоть в огонь, хоть в воду. Других никто не посмеет будить среди ночи, а если отважится, посмеет – полжизни будет потом извиняться и каяться. И уж если кого другого закрутит, занесет в ночное море с поманившей его женщиной, то это будет такая женщина, что хоть спейся потом, хоть погибни – никто не вздумает презирать и смеяться: завидовать будут, вздыхать и завидовать.

Бессонная ночь, постыдное положение, пустынное море и одиночество – всего этого оказалось достаточно. Нервы Эвальда были оголены. Он ругался и плакал.

Нечто похожее на стыд шевельнулось в Насте. «Да он же мальчик совсем», – подумала она, неожиданно для себя угадывая то живое, что страдает, не в силах выразить себя, под ледяной кожаной курткой. «Обидела мальчика». Она поджала губы, придвинулась к нему, потрогала, заговорила:

– Да перестань, ну вот еще, зачем ты.

Тут он вздрогнул, словно проснувшись; отшвырнул ее руку и холодно сказал:

– Ты! – Он помолчал, подбирая слова. – Ты зачем здесь приехала? – Он отвернулся. Слезы высохли, и он забыл о них. Спокойно и неторопливо, стараясь вновь обрести уверенность в

себе, направил яхту к пирсу, причалил и, зевнув, сказал: – Приехали. Стокгольм. Можешь идти. Спать.

За минуту до этого начало светать.

Настя торопилась. Она глотала кислый предутренний воздух, и его не хватало. Она в голос ругала свои ноги, которые ныли от усталости, вязли в песке и не хотели бежать.

Настя вспомнила о Тамаре, когда ощутила реальность времени, то есть в ту самую минуту, когда рваная линия прибоя, шербатые доски пирса, деревья и кустарник в дюнах обрели свои привычные подробные очертания. Это был все тот же мир, где пляж, знакомый до каждой вымоины, тянется к курортной зоне, мир, где дощатая дорожка ведет через дюны к заасфальтированной улице, знакомой каждым поворотом, а это значит, что где-то рядом спит влажный от росы сад, знакомый каждой веткой, а в саду, точнее в доме, спит подруга Тамара, знакомая и близкая каждым движением души. И если Тамара вдруг проснется – а она имеет несчастливую привычку просыпаться по ночам, – если Тамара обнаружит, что она, Настя, исчезла.

Успеть бы только, добежав до дорожки, миновав дюны, чужие сады и заборы, влезть в окно, нырнуть под одеяло и заснуть. Заснуть и спать, пока ворчливая Тамара не разбудит, пока не спросит, как спалось, что снилось. «Ничего не снилось. На этот раз ничего».

Всего несколько шагов оставалось до дощатой дорожки, связующей берег с поселком, когда Настя ясно ощутила, что она не одна на пустынном пляже. Она обернулась и похолодела, узнав Тамару, идущую к ней издалека, из красного рассветного марева. Тамара не кричала, не бежала – плелась, обессилев, и слабо махала ей рукой. Настя, робея, махнула в ответ и столь же медленно побрела навстречу.

Потом они шли рука об руку по спящему поселку, шли и разговаривали без всяких эмоций. Переживания прошедшей ночи догорели, и переживать встречу не осталось сил. Тамара коротко рассказала, как она проснулась в темноте, совсем одна, ужасно перепугалась и бросилась искать подругу, полагая, что та на что-то обиделась и решила сбежать в Москву. Тамара искала ее на станции, где было тихо, пусто и провода не звенели, потому что ночью электрички не ходят. Искала в поселке, шарахаясь от лая цепных собак. Потом искала на берегу, но везде было темно и найти можно было разве что на ощупь, то есть невозможно было найти. Искала и кляла себя за давешнюю резкость, мучилась, пытаясь вспомнить, чем и когда она могла еще обидеть Настю.

– Что ты, что ты! – сказала Настя.

Она и не думала обижаться, просто ей вдруг захотелось искупаться в ночном море, и вышла она, как надеялась, ненадолго, да тут подвернулся Эвальд со своей дурацкой яхтой, повез кататься, приставал, обезумел совсем (Настя показала синяки), до того обезумел, что жениться обещал, яхту подарить обещал, нес такое, чего не передать словами, еле-еле от него отделалась.

– Ну, мать, ты даешь, – хрипло сказала Тамара, когда они подошли наконец к саду.

Едва открыв любимую калитку, Настя прошептала:

– Том, а Том.

– Ладно тебе. – Тамара ласково потрепала ее за ухо в знак того, что инцидент исчерпан.

– Да нет же, Том, – зашептала Настя, прижимаясь щекой к плечу подруги. – Здесь кто-то дышит.

На крыльце, скользком от росы, полулежа, зябко поджав колени и скрестив полные руки на раскрытой волосатой груди, удивленно открыв рот и мучительно дыша, спал Владимир Иванович.

Настя ошалело хихикнула и, нагнувшись, провел ладонью по его небритой щеке. Он заворчал. Тогда Настя легонько щелкнула его по носу. Владимир Иванович охнул, вскинулся, попытался встать и снова сел.

– Это ужасно, – сказал он, ежась от холода и тупо глядя перед собой. – Который час?

– Пять, – насмешливо сказала Тамара. – Или полшестого. Простите, что потревожили.

– Это ужасно, – снова сказал Владимир Иванович. – Это даже интересно. Сперва соседи мои спать не давали. Потом приснилось нечто несообразное. Продрал глаза – везде ночь, ни звука. И до того пакостно – хоть вой. Что же это, думаю, смерть пришла? Прислушался – да нет, сердце на месте, не барахлит. Э, думаю, что-то у девочек моих неладно, что-то нехорошо с моими девочками. – Владимир Иванович с трудом подавил зевок. – По шпалам пришел. А дверь заперта.

Подошла осень; из садов, пансионатов, дач потянулись загорелые отдыхающие с чемоданами, детьми, букетами, корзинами, собаками; подобно птичьим стаям они скапливались на станциях, штурмовали вагоны электричек, переправлялись в город и там рассеивались по разным поездкам, разлетались по всей стране, цепенеющей в ожидании зимы.

Электрички, шедшие из города, были почти пусты, и в последний из солнечных дней на нашей станции вышел всего один пассажир с легким, выдавшим виды чемоданчиком в руке. Я не мог не заметить прибывшему, как он посвежел, помолодел за лето, как разгладились его морщины, прояснились глаза и выпрямилась спина. В ответ полковник махнул рукой и сказал, что, ежели б не дети, которые неисправимы, он был бы сейчас настолько бодр, что вполне бы мог приносить ощутимую пользу обществу, а не гнить в этом идиотском саду, на этом идиотском побережье.

Рискуя показаться бестактным, я все же поинтересовался, чем же провинились перед ним его взрослые дети. Полковник закашлялся так, что на горле его побагровел старый шрам, и стал рассказывать мне историю самостоятельной жизни своих детей.

Я не нашел в этом рассказе и намека на то, что дети живут бесчестно, ведут себя непорочно и бездушно относятся к отцу. Обыкновенная жизнь обыкновенных детей конца века.

Я глядел на него и видел, что придет июнь – и его вновь потянет в живой, непонятный ему и потому кажущийся неблагодарным мир.

Год от году холоднее становится лето, теплее зима, и оттого мне порой кажется, что все катится под гору. Это тяжелое, тревожное и, вероятно, случайное чувство. Не будь беспомощен, не поддавайся ему. Вцепись в землю, если земля уходит из-под ног, или пройди по ней с фонарем или под солнцем, пройди и убедись, что все на своих местах: не запустел сад, не обмелело море, не отменен рейс на Стокгольм, здоровы близкие тебе люди, не сгнули, оставшись без присмотра, персонажи твоих и чужих историй.

\* \* \*

Я ощипываю ягоды малины, проросшей сквозь штакетник, и разглядываю украдкой силуэты пока еще незнакомых мне людей. Это дети хозяина сада. Они грозно покрикивают на своих малышей, чтобы те не шумели и не мешали спать старому полковнику.

Сад не узнать. Теперь это лучший сад в округе. В нем посажены яблони четырех сортов, жагарская вишня, черешня, цветы – все, чего душа пожелает. Уксусное дерево срублено. На

его месте стоит невысокий столик для чаепитий, целесообразно стоит, в тени. Я чужой, но мне жаль немного старого уродца, который так походил и на папоротник, и на пальму.

Каждое утро, если только нет дождя, Тамара, Настя и Владимир Иванович приходят пешком из курортной зоны, где они вместе отдыхают в пансионате, на старое, привычное место. Здесь, рядом с осевшим дощатым пирсом, они часами пролеживают на песке и большей частью молчат. Они настолько хорошо знают друг друга, что говорить им почти не о чем. Любимое занятие каждого – ревностно и подчас навязчиво печься о здоровье друг друга, а также делиться ценными советами. Настя советует, как лучше воспитывать детей, если Бог их даст. Тамара советует, как следует жениться и выходить замуж, если у кого возникнут такие планы, Владимир Иванович советует, как нужно вести себя в путешествиях, если случится кому путешествовать. В Москве у каждого из них все по-прежнему, а как – тут можно строить любые догадки.

В строго определенный час белая точка появляется над морем, медленно ползет к горизонту. На море полный штиль. Безжизненно висит полосатый парус самодельной яхты. Встав во весь рост, опершись рукой о мачту, Эвальд гордо оглядывает равнину моря и старается не думать о близости берега за спиной. Стоя спиной к берегу и постепенно забывая о нем, он ощущает себя покорителем и полноправным властелином пространства. Я часто вижу его таким в хорошую погоду. Когда штормит, Эвальд в море не выходит.

*1983*

## Шаги

### *Рассказ*

Путь домой от ворот пытавинского «Бурводстроя» таков: по тропинке, протоптанной в грязных сугробах вдоль шоссе, Ивану Королеву нужно дойти до насыпи железной дороги, а затем уже по шпалам – до дыры пешеходного тоннеля, прорытого под полотном. Если мать еще не закрыла свой лоток в тоннеле, если она еще там, под полотном, Иван дожидается, когда она уберет весы и ценники с лотка, и по улицам Пытавина они пойдут уже вдвоем – Иван и мать. Пойдут вдоль долгих заборов, поленниц, сараев, мимо желтых и красных окон, мимо черных, голых тополей. Подгоняемые лаем собак, треском мотоциклов, запахами опилок, бензина, хлева и кухни, они пойдут сквозь ветер и сырость, выдыхаемую черными полыньями Хновского озера. В эти вечерние часы, когда берега соседей тонут в февральской мгле, озеро кажется огромным, как небо. Рыхлые торосы нашего пытавинского берега подступили к самому крыльцу дома, построенного Матвеем Королевым, отцом Ивана Королева, – отец умер девять лет назад.

Иван бредет по узкой тропинке вдоль шоссе, скользит и дважды оступается, набрав полный ботинок снега пополам с песком. Над лысыми холмами, над прокисшими от удобрений полями сгущаются сумерки. Принимая как должное и свет и тьму, Иван ненавидит сумерки – это зыбкое, беспокойное перетекание дня в ночь, когда предметы вокруг еще не утратили красок, но уже теряют свои очертания. К чувству раздражения и тревоги, вызванному ускользанием зримого мира, спешит присоединиться чувство глухой обиды. Едва о себе напомним, обида стремительно заполняет все закоулки существа Ивана Королева – так же стремительно, как надвигается ночь на Пытавино: неотвратно и тяжело, так, словно они, ночь и обида, состоят в тайном родстве и сговоре против Ивана.

Ивана презирают. В свои двадцать два года он стар, мнителен, немощен; шамкает в разговоре, прячет глаза, то и дело хватается за бок, морщится от боли, когда ему пожимают руку, пусть и не часто ее пожимают. Будучи трезвым, он робок, тих и невнятен, но после самой малой выпивки становится болтлив, нагл и норовит нарваться на скандал. Трех лет не прошло, как, выпив какой-то дряни и дрянно осмелев, Иван затеял драку с милиционером Елистратовым, сам же был побит и получил срок. Сидел не в дальних, овечьих жестоких ветрами и грубыми легендами краях, о чем, как начинает думать Иван, можно было бы порассказать всякого, наплести небылиц, дабы набить себе цену, внушить страх и приязнь, но здесь сидел, у нас, в десяти километрах от Пытавина, в бывшем женском монастыре: шил брезентовые рукавицы в компании проворовавшихся язвенников. Не в пример другим разнорабочим пытавинского СМУ «Бурводстрой» Иван не огрызается, когда прораб Корнеев подбрасывает ему тяжелой и грязной работы, – нет, он работает усердно, в меру своих сил и сноровки, но тем заметнее, сколь неумело и бестолково он работает. Бумажные мешки с цементом выскальзывают из хилых рук Ивана, рвутся, серая мука рассыпается вокруг и, мешаясь с грязью, становится грязью. Дренажные трубы, старательно погруженные им на шаланду, с грохотом катятся на землю при первом же ее движении, грозя уничтожить или искалечить каждого, кто подвернется... Однажды Иван услышал, как прораб Корнеев сказал начальнику отдела кадров Лухину, что Ивана Королева нельзя назвать даже дерьмом, поскольку от дерьма все же есть известная польза природе и обществу... Если бы прораб Корнеев сказал это сгоряча или по злобе, Иван, может быть, плюнул бы, выругался и забыл. Но прораб Корнеев сказал это спокойно, просто и лениво, как

о давно решенном деле, он даже не смутился, обнаружив стоявшего поодаль Ивана, лишь мазнул по нему усталым, удивленным взглядом и продолжил свой разговор с начальником отдела кадров.

...Разбуженные рельсы кричат, шпалы вздрагивают. Спиной чувствуя приближение поезда, Иван не спешит сойти с рельсов; он знает: станция близко, и на этом отрезке пути поезда притормаживают. Нарочно замедляя шаг, Иван ждет, когда поезд взревет отчаянным долгим гудком, предлагая ему, Ивану, уйти с дороги. И те несколько неторопливых шагов, которые Иван, не оборачиваясь, не обращая никакого внимания на гудок, еще пройдет по шпалам, доставят ему короткую злую радость, минутное упоение своим присутствием в этом неуютном февральском мире, успевшем наконец погрузиться в стойкую тьму.

По левую руку Ивана мигают огни дальних окраин Пытавина. Огни станции маячат впереди. Иван идет на них по тропе вдоль насыпи. Вагоны и цистерны товарняка со стоном прокачиваются над головой. Иван втягивает голову в плечи и досадливо скалится. Минута радости прошла. Он опять наедине со своей обидой...

В пешеходном тоннеле сыро и гулко, как в нетопленной коммунальной бане. Две старухи, Галина и Ирина, сидя на пластмассовых ящиках из-под пива, торгуют семечками, капустой и солеными помидорами. Незнакомый Ивану, должно быть, хновский мужик в распахнутой телогрейке, молодой, плечистый и розовый, прохаживается вдоль газет, расстеленных на нечистом цементном полу. На газетах аккуратно разложен собачий мех. Прохожие, завидев этот товар, с безотчетной опаской ускоряют шаги, обрывают разговор, отводят в сторону глаза... Матери уже нет в тоннеле. На голубом лотке висит замок: значит, пуст лоток, значит, мороженные тушки рыбы наваги расхвачаны до одной. Иван рад, что мать его не дождалась, – он знает, что зол, раздражен, знает, что почти наверняка сорвал бы зло на матери: наговорил бы ей разных грубостей или, хуже того, промолчал бы угрюмо всю дорогу домой, а это ошеломляет мать настолько, что лицо ее делается мертвым, и страшно бывает взглянуть ей в лицо.

Купив у старухи Ирины соленый помидор, Иван поднимается вверх, на платформу станции Пытавино. Платформа безлюдна, поезд до областного центра час как отошел и многих увез, а те немногие, по чьи души придет проходящий, чтобы унести их куда-то далеко, туда, где снег сошел давно, едва успев выпасть, туда, где пахнет солью, йодом, перченым дымом и нездешней пряной растительностью, те дремлют пока на своих чемоданах в холодном зале ожидания... Иван жует соленый помидор, и, пока он жует, жмурясь и вытирая губы ладонью, мысли его, уставшие лелеять обиду, отдыхают на воображаемых картинах говорливого, шального, обильного застолья в какой-нибудь приятельской компании, пусть и нет у Ивана такой компании.

Обойдя здание станции, Иван пересекает площадь и расслабленно направляется к стеклянным дверям закуской «Ветерок».

Душная, холодная закусочная переполнена. Медленный гул голосов вторит мушиному звону ламп дневного света. Нащупав влажной ладонью деньги, Иван становится в очередь у буфетной стойки. Буфетчица Серафима точными брезгливыми движениями наполняет стаканы жидкостью, называемой вермутом; мужчины проглатывают жидкость, не отходя от стойки, затем рассматривают на свет пустой стакан, виновато улыбаются, ставят стакан на стойку, вздыхают и, пряча глаза, торопятся уйти прочь. Некоторые, выпив, кротко прислушиваются к чему-то неясному, происходящему у них внутри... Когда подходит очередь Ивана, Серафима бросает ему:

– Вермут кончился... Кончился вермут! – кричит она, чтобы не одному Ивану, но и всем было понятно.

Услышанное равносильно пощечине. Ивана лишь то утешает, что не один он оскорблен: рядом притихли еще пятеро таких же, как и он, неудачников.

– А что у тебя не кончилось? – мрачно спрашивает Иван.

– Шампанское, коньяк, – отвечает Серафима. – Дешевого ничего.

– Выходит, нам не повезло, – произносит один из тех пятерых и невесело подмигивает Ивану.

Последняя реплика, панибратское подмигивание и в особенности слово «нам» задевают Ивана, вызывают в нем чувство капризного протеста.

– Какой коньяк, покажи, – говорит он Серафиме, и она, насмешливо дернув полным плечиком, ставит на стойку бутылку коньяка так, чтобы Иван смог разглядеть этикетку.

– Дрянный коньяк, – морщится Иван: его подстегивает насмешливый жест Серафимы, а еще больше хмыканье кого-то из тех пятерых. Скучающим тоном он приказывает: – Шампанского налей.

– Не налью, – говорит Серафима. – Всю бери, а иначе не жди, не положено.

– Давай всю, – обреченно соглашается Иван и достает из кармана мятые, нагретые влажной ладонью деньги.

Он пьет шампанское так, как привык пить пиво; первый стакан залпом, остальные – потихонечку, губами причмокивая, обводя рассеянным взглядом соседей по столику. Оттого, что во всей закуской Иван один пьет шампанское, ему неуютно, нервно.

– Угощайся. – Он заносит оклеенное фольгой бутылочное горло над пустым стаканом соседа.

– Нет уж, дуй сам, – усмехается сосед, не поднимая головы от тарелки со щами.

Иван пьет... Полное плечико Серафимы, заскучавшей за буфетной стойкой, вызывает в нем не желание вовсе, но воспоминание о желании – о другом полном плечике воспоминание, о том, как оно, это другое плечико, насмешливо дернулось, стоило лишь семнадцатилетнему Ване покраснеть и выбормотать грубые слова, которые могли бы сойти за признание – не в любви, нет, но в одиночестве, в долгой жажде ощутить наконец под рукой теплое, покорное и, хорошо бы, надежное плечико...

– Не лопнешь? – спрашивает сосед, отодвигая пустую тарелку.

– А тебе что? Ну что, что, говори! – мгновенно отзывается Иван, уже достаточно осмелевший для того, чтобы хватать за грудки, брызгать слюной, выкрикивать ругательства и оскорбления, молотить своими узкими, костистыми кулаками по кому и по чему попало.

– Не заводись, – добродушно говорит сосед. – Это я так... Дуй на здоровье. – Он вытирает носовым платком круглый красный рот, встает из-за столика, грузно шагает к стеклянным дверям, за которыми плывет и гаснет во тьме свет автомобильных фар, и выходит из закуской. Давясь остатками шампанского, Иван спешит догнать его уже не затем, чтобы хватать за грудки, но затем, чтобы идти с ним рядом по улицам Пытавина, идти молча, принаравливаясь к грузному шагу этого спокойного, сильного и уставшего за день человека, радуясь, если этот человек вдруг обронит какое-нибудь слово: скажет «пока» или «будь».

На площади пусто, лишь возле здания станции, на слякотном, разбитом колесами автобусов и грузовиков пяточке маячат какие-то люди, но Иван не видит среди них ни одного, кто был бы похож на исчезнувшего соседа по столику... Выпитое шампанское стоит где-то возле кадыка, гортани больно, голова закипает злостью и весельем. Как бы случайные, но на самом деле давно взлелеянные мысли пляшут в этой голове. Иван видит прораба Корнеева, ползающего перед ним на коленях в грязи: Корнеев молит о пощаде, а он, Иван, не желая «пачкаться об эту пададь», уходит прочь – гордо, вразвалочку, не оборачиваясь. Он видит, как они – он и прораб Корнеев – пьют чай с клубничным вареньем дома у прораба: Корнеев задумчиво теревит мочку уха и, добавляя варенье в розетки, рассказывает ему, Ивану, как самому близкому человеку, о бедах своих, советуется, как быть, вспоминает разные смешные случаи, вспоминает свое детство, – и ползет на коленях в грязи, вымаливая пощаду, и глаза его при этом полны слез, ужаса и удивления... Мысли эти одновременны, они пляшут в раз-

горяченной голове Ивана, взявшись за руки, не соперничая друг с другом, не опровергая друг друга, потому что им, вроде бы совсем противоположным мыслям, друг с другом хорошо... Иван видит милиционера Елистратова: милиционер шьет брезентовые рукавицы там, в десяти километрах от Пытавина, в бывшем женском монастыре, и вдруг он, Иван, входит и говорит: «Не умеешь ты шить брезентовые рукавицы, скотина. А лес валить умеешь? Ну скажи, скажи – умеешь? А то смотри, я те быстро отправлю лес валить, в далекие края отправлю, ох и в далекие!». А еще видит Иван милиционера Елистратова в миг, когда тот плачет навзрыд на общем собрании милиции и умоляет милицию наказать его, Елистратова, по всей строгости закона за то, что три года назад он позволил себе побить честного, хорошего парня Ваню Королева да еще срок ему обеспечил – и вот не дает уснуть по ночам проклятая совесть. Милиция потрясена, но тут в зал ее общего собрания входит он, Иван Корольев, он обнимает милиционера Елистратова и, утешая его, говорит: «Я все простил, плюнь, я же тогда первый полез с тобой драться, плюнь, говорю, пойдем лучше на бережок, покурим». Они идут на берег Хновского озера, долго курят, думают каждый о своем – и вновь милиционер Елистратов шьет брезентовые рукавицы, вновь Иван орет на него, поигрывая своей воображаемой силой и властью: «А лес валить, падла, умеешь? А я научу!» – эти мысли тоже одновременны, они тоже пляшут, взявшись за руки, вполне довольные друг другом.

Высоко поднимая ноги, разбрызгивая снег, шагает Иван по безлюдным улицам Пытавина и думает о тех, с кем работает в «Бурводстрое», о тех, с кем шил рукавицы, думает о матери, о давно умершем отце, о соседе по столику в закусочной «Ветерок», о буфетчице Серафиме думает, о той, насмешливой, чью память вызвало полное плечико Серафимы, и снова о Корнееве, и опять о Елистратове... Поначалу подробные, крепко сбитые мысли постепенно путаются, блекнут; лица людей, живущих, умерших и вымышленных, стираются; так радостно придуманные и радостно затверженные фразы становятся все короче, обрывочнее, бессмысленнее, и, когда Иван обнаруживает себя прислоненным к тополю где-то в конце улицы Буденного, на которой неизвестно как очутился, в голове его, как в доме, разгромленном и покинутом загулявшими гостями, пляшут среди запустения и разгрома всего четыре слова: «Я вам всем покажу».

Громадный мотоцикл, завизжав, обдаёт Ивана брызгами снега и воды и уже через мгновение, истошно проклинаясь невидимыми, таящимися за длинными заборами псами, скрывается за поворотом. «Я вам всем покажу; я покажу, не бойтесь...» Иван размазывает рукавом по лицу холодные, мокрые комья, затем отталкивается от дерева и бежит. Спотыкаясь и размахивая руками, он бежит по следу мотоцикла и исчезает вслед за ним в узком и темном Бородинском переулке.

– Клоп, гулять! К Сергею Кузьмичу как, пойдем? Да погоди... Смирно, кому сказал... С Машкой повидаться хочешь? А то Сергей Кузьмич говорит: заскучала без тебя Машка, все скулит и скулит... Стоять, дурак! Поводок прицепить надо или не надо?.. Вот так... Вот и хорошо. Ну все, все... Дурак ты у меня, дурачок. Мы с Сергеем Кузьмичом чайку, может, попьем, а вы там с Машкой – как знаете... Ну пошли, пошли.

Человек выводит из калитки рослого тонконового пса. Где-то Иван видел этого человека. Пса не припомнит, а человека – точно, видел. И голос его – бархатный, глухой, рассудительный голос – слышал когда-то давно...

– Ну ты что, что гавкаешь? – Человек дергает поводок. – А, ты вот что. Мы свет забыли погасить... Думаешь, склерозом запахло? Думаешь, погасить? А мы возьмем и не будем гасить. Пусть они шастают вокруг и думают, будто мы дома... Да не тяни ты, черт, успеешь!

– Мы дураки, да? – тупо цедит Иван вслед человеку и псу. – Это вы дураки, если мы для вас дураки, понял?

Когда бормотание человека и погавкивание пса смолкают за углом, Иван выбирается из-за поленницы. Стряхнув с рукавов и воротника куртки сосновую труху, он быстро и бесшумно шагает в желтую полосу света, падающего из окна. Взобравшись на высокий узкий подоконник и с трудом удержавшись на нем, Иван просовывает руку в форточку, нашаривает шпингалет и, надав раму коленом, распахивает окно. Шагнув промокшим ботинком на зеленое сукно письменного стола, затем, резко оттолкнувшись, спрыгивает на пол и замирает, изо всех сил сдерживая непрошенный, раздирающий горло смех.

Тихо в комнате. На столе постукивает железный будильник. Пахнет валидолом, одиноким старым телом, лежалым тряпьем. Иван хватается будильник, пытается запихнуть его в карман, но без толку: узок карман для будильника. Оставив будильник в покое и забыв о нем, Иван выдвигает один за другим ящики стола, набивает карманы склянками величиной с ноготь, кулечками – всем, что попадает под руку в ящиках, до тошноты пропахших валидолом... Карманы топорщатся, Иван задвигает ящики и вдруг вспоминает о деньгах. стыдно уйти без денег, пусть самых малых; если тебя угораздило забраться сюда, ты просто обязан уйти с деньгами, иначе будешь смешон, – примерно так думает или чувствует Иван, вновь выдвигая ящики и перерывая их содержимое... Находит рыжий кожаный кошелек: на дне кошелька нет ничего, кроме канцелярской кнопки с погнутым кончиком... Встряхивает сберкнижку – новенькая десятка выпадает из сберкнижки и, порхая, опускается на дощатый крашеный пол.

– То-то же, – бурчит Иван, нагибается за десяткой и вздрагивает, услышав разноголосый лай собак. Вспыхнув где-то вдаль, на окраинах Пытавина, лай громыкает все ближе, ближе и наконец вздорной волной прокатывается мимо.

Иван спешит прочь от оскверненного им дома. Семенит вдоль невысоких покосившихся заборов, на которых развешены для проветривания лоскутные половики, вдоль поленниц, покрытых рваным рубероидом, пахнувшим льдом, сосной и кошками... За спиной ни погони, ни суматохи. Из окон тянет дымным, жирным ужином. По улицам и дворам плывут, процеженные ветром, звуки телевизионной передачи. Отрывисто звенит бензопила, вздыхает и топчется в темном хлеву корова, звучит женский смех, стучит кровь в ушах Ивана. Он спотыкается, оглядывается, ускоряет шаги, а когда переходит на короткий пугливый бег, сырой воздух становится вязким, обретает запахи вольной воды и мерзлого ила. Близится озеро... Дрянь, изъятая из ящиков чужого стола, оттягивает полы куртки, бьет при каждом шаге по ногам, и каждый шаг отзывается тупой болью в пустой, тяжелой голове.

– Ты, что ли? Ты как раз, скоро известия, – говорит мать, не отрываясь от книги, которую читает и перечитывает уже не первый год, – не то чтобы ею восхищаясь, а попросту успокаиваясь на привычных, уютных ее страницах, смягчаясь мыслями, от самой книги далекими, перебирая страницы так, как, наверное, перебирала бы теплую шерсть котенка, будь у нее котенок...

Иван молча сбрасывает мокрые ботинки и носки и, не снимая куртки, так быстро проходит к себе в комнату, что мать не успевает обернуться и посмотреть ему в глаза. Плотнo прикрыв дверь и включив свет, он вываливает на кровать содержимое карманов. Десятку, насладившись ее хрустом, сует в наволочку и, сам не зная зачем, старательно взбивает подушку.

– Свининки подогреть? – раздается за дверью.

– Я кушал, – кротко отзывается Иван. – В «Ветерке» щи кушал, с курой. И потом гуляш с макаронами, – врет он, затем аккуратно, почти любовно раскладывает на домотканом покрывале склянки, подмокшие газетные вырезки, коробки, конверты...

– Ну ты глупый, нет? – сокрушается за дверью мать. – Дома свининка есть, можно и кашу сварить, а он – в «Ветерке»! Вот получишь какую болезнь, узнаешь! Зря только деньги переводишь... Зря тратишь деньги, я говорю!

– Жалко, да? – Иван с недоумением разглядывает извлеченные из склянок и коробочек таблетки, какие-то белые шарики, винтики от очков, рыболовные грузила и крючки, толченую траву, похожую на табак, но без запаха...

– Тебя, тебя, дурака, мне жалко! А вот тебе меня – ничуть не жалко! Ну заболеешь ты от «Ветерка» язвой какой или другой гадостью, я не знаю, ну отравишься – и что мне тогда с тобой делать? Что мне делать с тобой, говори!

– Ты чего, совсем? – Иван судорожно сгребает в кучу, задвигает под подушку свои нелепые приобретения, вновь взбивает ее и кричит: – Я что, уже заболел? Я больной, что ли?

– Кто ж тебя знает, – отзывается мать. – Может, и больной.

– Все меня знают! – взрывается Иван. – И никто никогда не скажет, что я больной! Никто, кроме тебя, поняла? У меня здоровья побольше, чем у этих! Ребята мне вчера еще, на погрузке... говорят... ты слышишь? Взмокли они все, дыхалка у них села, а они говорят: ну, Ваня, здоровья у тебя побольше, чем у этих... А что, не так? – Он не уточняет, да и сам толком не знает, о каких «этих» ведет речь. – Я вон ноги промочил – и хоть бы хрен.

– Надень шерстяные носки, – приказывает мать и предупреждает: – Я проверю.

Иван подчиняется. В пыли под кроватью он нашаривает один шерстяной носок, немного погодя – второй, затем встряхивает их и натягивает на посиневшие от холода ступни.

– Известия, сынок, – мягко, примирительно объявляет мать. – Ты как, идешь?

Свет погашен. Телевизор включен. Иван тихонько устраивается на диване: боком к экрану, к матери лицом. Она сидит на жестком стуле как-то слишком строго, прямо; она смотрит программу «Время», которую, равно как и «Новости», упрямо называет «известиями»; ее рука осторожно, словно из опасения спугнуть изображение на экране, поднимается к воротничку белой блузки и застегивает пуговицу на воротничке... Этот жест, праздничность белой блузки, эта слишком прямая, строгая посадка перед экраном – вот и все, что осталось у матери от былых вечеров перед тем, первым в семье Королевых телевизором. Иван его не помнит, Ивана еще не было на свете, но из рассказов матери он знает, что она в ту пору надевала по вечерам праздничное крепдешинное платье, так как не хотела, чтобы «Вадичка», диктор областных телевизионных известий, мог подумать о ней, будто она нищенка или неряха. И Матвей Королев не смел смеяться над нею.

Иван не помнит мать молодой. Он и отца помнит старым, и Сурикову, умершую семью годами позже отца, то есть он помнит, как Сурикова приходила к ним по вечерам смотреть «известия». Едва увидев на экране благостную улыбку «Вадички», едва услышав бодрое «Добрый вечер, товарищи», она бормотала: «Ну, слава тебе, обратно войны нет, уберег», – и, коротко простившись, шла прочь. Иван помнит, как недоволен бывал ее поспешными уходами отец, который полагал, что ежели человек приходит в гости, то уж хотя бы из уважения к дому обязан досмотреть «известия» до конца и чай допить до дна. Чинно проводив Сурикову до калитки, отец возвращался насмешливый, раздраженный: громко фыркал в чай, громко рассуждал о правилах вежливости, принятых в главных городах и в разных далеких странах, потешался над серостью Суриковой, но мать без труда гасила его высокомерный запал и легко делала кротким, напоминая ему о недавней поре их первого телевизора и о своем крепдешинном платье... Тем временем Сурикова шла вдоль береговых торосов и глядела на далекие костры любителей подледного лова. Она могла подолгу глядеть на эти ясные спокойные огни. От телевизора у нее болели глаза...

Должно быть, оттого, что на памяти Ивана мать не менялась внешне, то есть всегда была седенькой, рыхлой, невысокой и несколько сонной, ему долго представлялось, что мать в этом мире была и будет всегда. Смерть отца показалась ему случайной, невероятной, почти сновидением, тем более случайной, что приключилась она в самую счастливую пору жизни Ивана, тем летом, когда он, тринадцатилетний школьник, бегал наперегонки, пел про картошку-объ-

еденье и плавал саженками в спортивном лагере под Хновом; тем более невероятной, что узнал о ней Иван лишь после похорон, по возвращении из динамовского лагеря. По непонятной прихоти матери ему не пришлось увидеть мертвое лицо Матвея Королева, и оттого долго потом казалось, будто отец просто уехал куда-то, будто весть о его смерти приснилась, а потом стало казаться, что и сам он приснился когда-то, но вместе с тем Иван не переставал тосковать по нему, пусть даже приснившемуся... Когда умерла Сурикова, о чем Иван узнал за шитьем брезентовых рукавиц, то есть совсем в иную пору, он вдруг впервые ясно понял, что и мать умрет... Мысль о неизбежном страшит Ивана. Он боится, что в миг, когда он войдет в дом, никого не окажется рядом, боится остаться наедине с собой в опустевшем доме, боится остаться один в Пытавине, где его презирают; он уже решил про себя, что, не торгуясь, продаст дом и уедет в Хнов или в большой город: в Новгород, в Псков, а то и в Ленинград переберется. Мысль о новой жизни в неведомых городах не льстит воображению Ивана, она угнетает, потому что он не верит в себя: в крепость своих рук, в проворность ума, в свою удачу, наконец... Привычно наблюдая за тем, как пляшут голубые блики на неподвижном, торжественном лице матери, Иван если и мечтает, то лишь о том, как бы продлить до бесконечности эти слившиеся в один вечера, как бы вынуть из своей жизни, вышвырнуть и навсегда забыть все, кроме вот этого, слитого из множества подобных, вечернего часа: мать сидит перед телевизором, он, Иван, – боком к экрану, к матери лицом: притворяется, будто дремлет, а на самом деле любитесь голубыми бликами, пляшущими на ее гладких твердых скулах, на рыхлом, стекающем в белый воротничок подбородке; он просто любитесь, и все, он не слушает монотонный рассказ дикторши, он не думает ни о чем; и вот дикторша, должно быть, обиженная его невниманием, перестает рассказывать, вот она без слов напевает что-то рассеянное, задумчивое, а потом и вовсе умолкает...

\*\*\*

– ...Ваня, откуда это?

Иван вскидывается. Открывает и тотчас же, охнув, зажмуривает глаза. В комнате горит яркий свет. Голова болит; боль рвется наружу равномерными злыми толчками.

– Я спал, да?

– Ты пил? – Лицо матери качается вровень с его лицом. – Я все вижу: ты пил... Откуда это?

– Ребята немножко... угостили... – мычит Иван, с тоскою ощущая новую, незнакомую, тянущую боль в животе.

– Чего стонешь, раз немножко? – обрывает мать и настойчиво повторяет: – Откуда это?

– Шампанское пил. Дрянь шампанское. – Иван закрывает лицо руками, чтобы не видеть прыгающих зрачков матери, ее дрожащих ладоней, из которых сыплется на истертый диванный коврик таблетки, шарики, винтики и прочая немислимая, необъяснимая дрянь.

– Ты почему мне не ответил? Ты почему мне не говоришь: откуда это?

– Это так, пустяки. – Онемевшие губы Ивана вяло шевелятся. – Мусор всякий, я выброшу.

– Нет, не мусор, Ванечка, ну какой же это мусор? – терпеливо, как капризному младенцу, втолковывает ему мать. – Вот, смотри... Да смотри же!

Иван, морщась, смотрит, как она достает из кармана халата, наброшенного поверх блузки, мятый подмокший конверт, перетянутый черной резинкой, как срывает резинку непривычно нервными пальцами.

– Ну что, что? Я смотрю! – Он отводит глаза в сторону.

– Квитанция на белье, вот что... А это на обувь... А вот – и не пойму на что. Когда синяя полоска – это на что квитанция, не знаешь? – Мать повышает голос. – Ну разве это мусор! Разве пустяки! Сарычев И Эм... Кто такой Сарычев? Зачем тебе это?

– Не знаю я, какая квитанция. И кто такой Сарычев. – Иван размеренно, как лошадь, измученная мухами, мотает опущенной головой. – Синяя полоска зачем – не знаю... Нашел я это... Возле урны... У «Ветерка»... Валяется, смотрю, как попало... Обронил кто-то... Как там, Сарычев?.. Ну, значит, Сарычев...

– Ты бы отнес ему, Ваня. Тут и адрес есть, на квитанции... и на этой есть... Ты ведь молодец, что подобрал. Человек хватился уже, переживает. А ты принесешь – и хорошо. – Голос матери как-то слишком мягок, тих, тон вкрадчив, и глаза ее ласковы, но отчего-то смотрят мимо Ивана.

– Куда нести, ночь... – расслабляется он, не чуя подвоха. – И зачем: он бросает где попало, а я ему неси, так?

– Украл! Украл, сволочь! – пронзительно, визгливо кричит мать, но Ивана больше поражают страх и безнадежность, ясно услышанные им в этом неприятном крике.

– Почему это украл? – отшатнувшись, бормочет он. – Как шампанского чуть-чуть, так сразу: украл!

– Украл, украл, – тихо повторяет мать и причитает: – Под подушкой прячешь... От стыда своего прячешь... От меня, от матери своей, прячешь... Ты бы себя куда спрятал, подальше от глаз моих... Ты кому в карман залез, ты вспомни... Пьяному залез, пьяного обобрал... Все выгреб, все забрал, на все позарился, все сгодится... Эх ты-ы-ы-ы... А я-то гляжу: подушка... подушку, гляжу, поправил. – Она плачет, стоя на коленях, уткнувшись лицом в истертый диванный коврик.

Иван страдает. Редок день, когда мать плачет; как и всякую особенно сильную боль, Иван помнит каждый из таких дней, и это – мучительная, трудная память... А сейчас видеть и слышать, как плачет мать, ему и вовсе нелегко. Все эти квитанции на белье не стоят ее слез, что она плачет из-за какого-то хлама какого-то неведомого Сарычева И Эм, его тонконового пса, его комнаты, провонявшей валидолом, и чем беспомощнее, горше плачет мать, тем беспомощнее и горше ненависть Ивана к обворованному им человеку.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.